

ОЛЕГ
ЛАРИОНОВ

Роберт Дарнтон в поисках истоков Французской революции

The Revolutionary Temper. Paris, 1748–1789

ROBERT DARNTON

London: Allen Lane, 2023. – xxviii, 548 p.

1



Ключевое понятие новой книги историка Роберта Дарнтона вынесено в ее заглавие. «Революционной закалкой» он называет тот *нрав* или *настрой* (другие варианты перевода многозначного слова *temper*), который постепенно сложился в широких слоях парижского населения и сделал возможным революцию конца XVIII века. Этот набор коллективных представлений и установок образовывался под влиянием информационных потоков: знакомство с одними и теми же новостями порождало в парижанах «чувство причастности к общему опыту» (р. XXVII) и объединяло их в воображаемое сообщество, объявившее себя французской нацией в 1789 году. Соответственно, своей задачей Дарнтон ставит описание череды резонансных событий того времени и реконструкцию того, как они переживались парижской публикой, формирующей общественное мнение. Признавая, что «неопос-

НОВЫЕ
КНИГИ



редованный взгляд на коллективное сознание» невозможен, историк утверждает, что обилие и разнообразие источников позволяет путем «предположений и интерпретационных прыжков» (р. XIX) получить достаточно полное представление об умонастроениях парижан в последние десятилетия Старого порядка.

Согласно Дарнтону, французская столица представляла собой огромную и ветвистую систему коммуникаций, по каналам которой постоянно циркулировали многочисленные известия, слухи и оценки. Они распространялись из уст в уста, в кофейнях и в садах, в рукописях и книгах, песнях и рисунках, за закрытыми дверями салонов для избранных и на площадях при огромном скоплении народа. Все эти медиа и жанры вступали в резонанс и взаимно усиливали и распространяли друг друга, превращая Париж в эхо-камеру, в которой вызревали радикальные мнения и эмоции. Доступ же к этому миру дают неподцензурные газеты и сборники, публиковавшиеся по-французски за пределами страны, дневники и письма некоторых внимательных к новостям и общественным настроениям современников; сатирические стихи и записи «возмутительных» разговоров, отложившиеся в полицейских архивах, – материалы, с которыми Дарнтон работает уже более пятидесяти лет.

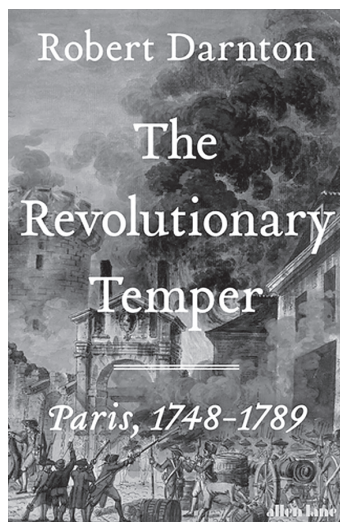
Отправной точкой повествования автор выбирает «кризис середины века» – серию разрозненных происшествий 1748–1754 годов, в реакциях на которые можно обнаружить первые ростки оппозиционного духа парижан. В 1748-м подошла к концу война за Австрийское наследство. Как показывает Дарнтон, жители столицы получали противоречивую информацию о ходе военных действий: официальные религии сильно отличались от сведений, публиковавшихся франкоязычными газетами за границей, и свидетельств очевидцев. Кроме того, внимание парижан было в первую очередь сосредоточено на Европе и сухопутных победах французов, тогда как глобальное измерение конфликта и морские успехи англичан игнорировались. В результате мирный договор неприятно их удивил, а попытка правительства представить его как триумф оказалась неубедительной. Одним из условий мира была высылка из Франции Карла Эдуарда Стюарта – Молодого Претендента на английский престол. Популярный среди парижан принц пытался обратиться за помощью к публике, но все равно был насильно выдворен из страны.

Этот громкий скандал вызвал к жизни целый ряд стихов, критиковавших Людовика XV. Французский король безвозвратно терял расположение своих подданных: распутная жизнь монарха не только порождала сплетни и изображалась в паск-

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Олег Алексеевич Ларионов (р. 1998) – историк литературы, аспирант Оксфордского университета. Сфера научных интересов – русская литература XVIII века, интеллектуальная история, гуманитарная и социальная теория.



245

НОВЫЕ КНИГИ

вилах, но и мешала ему получить причастие, без чего он не мог выполнять традиционную функцию короля-чудотворца, исцеляющего золотуху прикосновением руки. Сакральная аура королевской власти рассеивалась, и Людовик все меньше посещал Париж. Широкое хождение получили крамольные песни, высмеивающие короля и мадам Помпадур; в 1749 году борьба с этими текстами привела к опале министра Морепа и аресту четырнадцати человек, обвинявшихся в их распространении¹.

Один из важнейших конфликтов того времени был вызван отказом официальной церкви соборовать умирающих янсенистов. Янсенизм был широко распространен в парламентских (региональные парламенты во Франции того времени исполняли преимущественно функции юридического надзора) кругах, так что атака на него переросла в противостояние монаршей воли и судейского сословия; в религиозных полемиках начал постепенно выработываться новый политический язык. Одновременно с этим в парижском парламенте бурно дебатировались и оспаривались новые налоги, а парижские массы бунтовали из-за слухов о похищении детей полицией.

Наконец, в эти же годы власти безуспешно пытались цензурировать интеллектуальную жизнь, преследуя философов-энциклопедистов и других вольнодумцев; порой это выливалось в громкие дела и скандалы, сведения о которых доходили в том или ином виде даже до самой неискушенной публики. Впрочем, все это многообразное «недовольство сольется в общее чувство враждебности к режиму еще только через двадцать лет» (р. 52).

Вторая часть книги рассказывает о разнонаправленном «расширении публичной сферы» в 1762–1764 годах. Очередные толки и насмешки вызвало празднование окончания Семилетней войны. Много месяцев подряд публика предлагала и оживленно обсуждала проекты налоговых реформ, делая первые шаги в сторону открытой общественной дискуссии по вопросам государственного управления. Другим громким событием того времени было изгнание из Франции иезуитов, которому предшествовал судебный процесс и обширная полемика в печати сторонников и противников ордена. На фоне роста антиклерикальных и оппозиционных настроений укреплялись позиции «философов», претендовавших на интеллектуальную автономию и независимость суждений. Используя свой авторитет, Вольтер организовал публичную кампанию против преследований гугенотов католической церковью и добился по смертной реабилитации жертвы религиозной нетерпимости и государственного произвола Жана Каласа.

1 Автор посвятил этой истории отдельное исследование, переведенное на русский язык: Дарнтон Р. *Поэзия и полиция. Сеть коммуникаций в Париже XVIII века*. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

Однако «философы» не были монолитной группой: вольтерьянской апологии светскости, роскоши и прогресса противостоял Руссо со своей критикой цивилизации. В 1761 году он опубликовал роман «Юлия, или Новая Элоиза», который стал едва ли не самой популярной книгой эпохи. Многие люди перечитывали и интенсивно переживали роман, а порой и вступали в переписку с его автором. Пока Вольтер, Руссо и другие известные писатели превращались в самостоятельные публичные фигуры и моральные авторитеты, укрепляла свои позиции и подпольная словесность пасквилей и крамольных сочинений о придворной жизни. Слухи и сплетни об интимной жизни Людовика XV и вереницы его любовниц распространялись прямо из Версаля, сначала переходили из уст в уста, потом записывались и, наконец, в более или менее трансформированном виде попадали в печать. Таким образом, книги тиражировали и закрепляли в коллективном сознании представление об аморальном и неприглядном образе жизни монарха.

Результаты становления независимой от правительства публичной сферы дали о себе знать уже в 1770–1775 годах, которые Дарнтон называет «поворотным моментом в политике». В 1771-м министр Мопу инициировал реформу (или, как считали его оппоненты, переворот), которая уничтожала старые парламенты и выстраивала на их месте новую судебную систему. Хотя яростно сопротивлявшийся парижский парламент был в итоге разогнан, победа королевской власти была неполной. Политический кризис вызвал огромную общественную дискуссию, разворачивавшуюся сразу «на нескольких уровнях информационной системы» (р. 134) – от многотомных ученых трактатов до памфлетов и новостных листков, не говоря об устной коммуникации. Пропарламентские авторы приводили множество исторических и юридических аргументов, которые обосновывали роль парламента в качестве единственного выразителя интересов нации и выводили из «фундаментальных законов» королевства необходимость согласовывать с ним любые налоги. Соответственно, попытка правительства подчинить себе парламенты интерпретировалась в категориях Монтескье как проявление деспотизма. Сторонники Мопу в свою очередь обвиняли оппонентов в желании установить вместо монархии пагубную для страны власть аристократии. Многочисленные памфлеты и многотомные сборники новостей, посвященные этим событиям, составили особый жанр – «мопуану» – и утвердили образы «министерского деспотизма» в коллективной памяти парижан.

Среди других громких событий тех лет были опала влиятельного министра Шуазёля, прибытие во Францию Марии-Антуанетты, а также тяжба с участием Бомарше, который, вслед за Вольтером, использовал жанр судебной записки для обращен-

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ного к публике обличения французских юридических порядков. Смерть Людовика XV 10 мая 1774 года породила очередную волну слухов о его распутном образе жизни. Согласно Дарнтону, самые популярные анекдоты, из которых состоял этот политический фольклор, были крепко «зафиксированы в коллективной памяти» (р. 165) парижан. Людовик XVI, который среди прочего восстановил разогнанный Мопу парламент, поначалу вызывал у столичных жителей энтузиазм, однако резкий рост цен на хлеб, приведший в 1775 году к серии бунтов (так называемая «мучная война»), сильно ударил по популярности нового короля. Парижане придерживались традиционной «моральной экономики», подразумевавшей, что король должен поддерживать справедливые цены на продукты. Эксперименты правительства со свободой торговли неизбежно вызвали народное недовольство.

С рассказа о попытке государства вступить в диалог с общественным мнением Дарнтон начинает четвертую часть книги. В 1781 году министр Неккер издал отчет о состоянии финансов Франции: государственные тайны стали достоянием публичности и предметом оживленных устных и печатных дискуссий, а сам министр (вскоре снятый со своего поста) – героем дня. Последние предреволюционные годы внимание парижан занимала череда бурных событий и невероятных скандалов. Поддержка Францией американских колоний в борьбе за независимость позволила, с одной стороны, порадоваться победе над англичанами, а с другой, использовать опыт реальной и воображаемой Америки для размышлений и споров о собственной стране. Запуск братьями Монгольфьер воздушного шара в 1783 году и последовавшая за этим аэромания вселяли веру в способность человеческого разума подчинять себе природу. Подобным же образом мода на месмеризм рождала в некоторых парижанах надежду на скорое излечение всех болезней и подкрепляла их уверенность, что они живут «в мире чудесных, невидимых сил, ждущих, чтобы их обнаружили и обуздали на благо человечества» (р. 226)².

Значимым событием столичной жизни стала премьера «Женитьбы Фигаро» 27 апреля 1784 года. Бомарше долго добивался постановки скандальной пьесы (Дарнтон утверждает, что современники были больше поражены в ней откровенностью намеков на секс, чем политическим вольнодумством) и на некоторое время оказался в самом центре внимания парижской публики. Комедия оказалась едва ли не последней на ближайшие годы апологией «веселости в противовес тенденции

2 О месмеризме Дарнтон написал свою первую книгу, изданную в 1968 году и недавно переведенную на русский язык: Он же. *Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции*. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

к морализаторству и сентиментальности» (р. 230), которые все больше подчиняли себе общественные настроения. Примерами новой серьезности были сочинения Мирабо и Линге, рассказывавшие об опыте заключения в Бастилии, обличавшие государственный произвол и закреплявшие в воображении парижан символическое тождество столичной тюрьмы и деспотизма.

В 1785 году разразился грандиозный скандал, вошедший в историю под названием «дело о брильянтовом ожерелье». Речь шла о попытке дерзкого мошенничества, в которую оказались вовлечены столь разные люди, как кардинал де Роган и авантюрист Калиостро. Помимо того, что публичное судебное разбирательство много месяцев питало любопытство парижан все новыми и новыми подробностями и свидетельствами, оно катастрофически сказалось на репутации Марии-Антуанетты, имя которой оказалось замешано в этом деле. Именно в эти годы расцветает литература порнографических пасквилей, которая изображала королеву расточительной распутницей, а короля – безвольным импотентом. Свидетельства повсеместных растрат и безнравственности необратимо «подтачивали легитимность монархии» (р. 260). Этому же способствовало и равнодушие властей к заботам бедняков: попытка парижских рабочих в начале 1786 года дойти до Версаля и напрямую пожаловаться на свое положение королю не дала никаких результатов.

К 1787 году разнообразные скандалы и дискуссии постепенно начали сливаться в один общий поток новостей, идей и эмоций. Предметом резонансной полемики стала биржа, конфликтующие фракции игроков которой защищали свои позиции в многочисленных памфлетах. Ключевым участником этих споров был Мирабо, обличавший в новом тоне морального негодования финансовые махинации своих противников, среди которых был и Бомарше. Драматург оказался замешан и в очень громком деле Корнманна. Гласность юридических тяжб и расцвет жанра судебной записки превращали частные разбирательства в факты общественной жизни. В данном случае дело об адюльтере превратилось в обличение всего порочного государственного порядка, который позволял развратным аристократам и их беспринципным приспешникам вроде Бомарше соблазнять жен добропорядочных буржуа, нарушая неприкосновенность священных уз брака. Вместо того, чтобы посмеяться над роконосцем, как это могло бы быть еще десятилетие назад, парижане встали на сторону Корнманна и поддержали его протест против морального разложения, источником которого был признан пронизающий все деспотизм.

Все эти события происходили на фоне того, что правительство во главе с генеральным контролером финансов Калонном

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

столкнулось с угрозой банкротства и решило созвать Собрание нотаблей для одобрения налоговой реформы. Однако нотабли повели себя как «патриоты, противостоящие министерскому деспотизму во имя интересов всей нации», и выступили против новых налогов. Калонн был вынужден уйти в отставку и бежать в Англию, парижане осудили и сожгли его чучело в ходе карнавального ритуала, а он пытался оправдаться перед публикой в печати. В результате вокруг имени Калонна возник корпус текстов, напоминавших «мопуану» прошлого десятилетия: оба министра воспринимались как олицетворения абстрактной идеи деспотизма. Между тем правительство продолжало попытки провести налоговую реформу и на протяжении всего года препиралось со столичным парламентом, отказывавшимся регистрировать новые законы и на время изгнанным из Парижа. Все большее распространение получал тезис, что подлинным носителем суверенитета выступает не парламент, а Генеральные штаты, которые необходимо созвать.

В мае 1788 года власти попытались повторить «переворот» Мопу и упразднили старый парламент, до последнего сопротивлявшийся вырождению монархии в деспотию. Одновременно с этим происходит собрание высшего духовенства, которое, отстаивая собственные привилегии, в то же время осуждает разгон парламента и призывает собрать Генеральные штаты. Дискуссии и волнения продолжались и в провинциях, особенно в Гренобле. В стране повсеместно росло напряжение: в многочисленных памфлетах штыки превратились в символ режима, пытавшегося насильно удержаться у власти, народ страдал от высоких цен на хлеб (град размером с куриное яйцо побил урожай) и устраивал театрализованные протесты против министров, общественное мнение возлагало надежды на Неккера, политические конфликты так и остались нерешенными, а завершился год небывало холодной зимой.

В начале 1789 года все внимание публики было уделено вопросу о составе Генеральных штатов: воспроизводить ли модель прошлого созыва (1614) или же более точно отобразить структуру современного французского общества? В новой волне памфлетов Дарнтон обнаруживает фундаментальный смысловой сдвиг: вместо борьбы парламента с «министерским деспотизмом» речь теперь идет о третьем сословии как воплощении нации, появляются призывы созвать Национальное собрание и бороться с привилегированными сословиями, используются радикальные понятия вроде руссоистской «общей воли» и «естественных прав человека». Этот способ конструирования реальности – «прочерчивание границ, обнаружение общего врага, создание коллективного самосознания» – Дарнтон считает основой «революционного взгляда на мир» (р. 400). Для

его окончательного закрепления в умах парижан не доставало только опыта насилия, который не заставил себя долго ждать. Дальнейшее слишком хорошо известно, чтобы пересказывать его даже с минимальными подробностями. Происходят выборы в Генеральные штаты, они собираются, Париж взрывается беспорядками, депутаты от третьего сословия провозглашают себя Учредительным собранием, правительство отчаянно пытается удержать власть в своих руках, волнения в столице достигают кульминации в штурме Бастилии. В результате «долгого процесса, складывавшегося годами за счет событий и восприятия событий, [...] к 14 июля парижане стали революционерами» (р. 439).

В заключении книги Дарнтон перечисляет основные черты той «революционной закалки», формирование которой в умах парижан он пытался реконструировать. Новое общественное настроение включало в себя ненависть к деспотии, любовь к свободе, приверженность нации, возмущение порочностью аристократической элиты, морализаторство, разочарование в монархии, веру в силу разума, отторжение от церкви и симпатию к Просвещению, опыт политического участия и сопротивления новым налогам, а также знакомство с насилием. Все эти идеи, эмоции и представления накапливались начиная с середины века, удерживались в коллективной памяти, подкрепляли друг друга, образовывали смысловые циклы и системы лейтмотивов. Так, вереницы любовниц Людовика XV, деспотичных министров и судебных скандалов смешивались друг с другом и оставляли у парижан общее ощущение аморальности и произвольности существующего порядка, воплощенных в ряде типовых фигур и ситуаций. Разнородные события и процессы собирались в общую картину, взывавшую к радикальным переменам, которые и принесла революция.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

2

Для более точной оценки этой книги ее стоит поместить в контекст остальных работ Дарнтонна. Истоки «Революционной закалки» можно обнаружить уже в диссертации историка «Тенденции в радикальной пропаганде накануне Французской революции», защищенной в 1964 году в Оксфорде. Первая половина этой работы легла в основу изданной четыре года спустя монографии о месмеризме, тогда как другие материалы, в том числе обсуждение образа Америки и роли биржи в публицистике предреволюционных лет, были использованы только при написании соответствующих глав новой книги. Уже в 1960-е Дарнтон пишет о «революционном настроении», носителями которого выступали «романтические моралисты» – фрустри-

рованные нищие литераторы, отвергавшие «холодный рационализм середины века» и выступавшие против литературного истеблишмента и общественного порядка³. Этот тезис подробно развернут в статье 1971 года, в которой историк противопоставлял интегрированных в Старый порядок деятелей Высокого Просвещения и маргинализованных писак из «литературных низов»; разницей социального положения и ресентиментом объяснялся умеренный либеральный реформизм первых и предвещавший революционную эпоху радикализм вторых (в числе которых был, например, Марат)⁴.

Занимаясь мелкими литераторами и никому не известными памфлетами второй половины XVIII века, «литературным подпольем Старого порядка» (как назывался сборник статей историка, вышедший в 1982 году), Дарнтон начал работать с богатейшим архивом Типографического общества Нёвшателя. Находясь за пределами Франции, это издательство публиковало и распространяло франкоязычные книги без оглядки на цензуру и авторские права. Сохранившаяся документация позволяла не просто реконструировать устройство книгоиздания и книготорговли в XVIII веке, но и получить доступ к его нелегальному измерению – миру пиратства, контрабанды и запрещенной литературы. Изучению этих необъятных тем и были посвящены многие последующие труды историка⁵.

В методологическом отношении Дарнтон отвергал традиционную историю идей, сосредоточенную на каноне великих книг великих мыслителей. Его собственный подход, который он поначалу называл «социальной историей идей», располагался на стыке социологии культуры, истории книги и истории чтения. Еще одной важной дисциплиной, с которой Дарнтон состоял в диалоге, была антропология. Интерпретативная антропология Клиффорда Гирца, направленная на реконструкцию смыслов, которыми наделяет себя и мир вокруг носители той или иной культуры, была положена Дарнтоном в основу цикла работ по культурной истории дореволюционной Франции, составивших его самую популярную и, возможно, лучшую книгу – «Великое кошачье побоище» (1984)⁶.

- 3 См. цитаты и обсуждение в: PORKIN J.D. *Robert Darnton's Alternative (to the) Enlightenment* // MASON H.T. (Ed.). *The Darnton Debate: Books and Revolution in the Eighteenth Century*. Oxford: Voltaire Foundation, 1998. P. 106–107.
- 4 ДАРНТОН Р. *Высокое Просвещение и литературные низы в предреволюционной Франции* // Новое литературное обозрение. 1997. № 3(37). С. 7–36.
- 5 Итоговое высказывание Дарнтон по этим вопросам: ДАРНТОН Р. *Pirating and Publishing: The Book Trade in the Age of Enlightenment*. Oxford: Oxford University Press, 2021. Одна из последних работ историка, основанных на материалах архива Типографического общества Нёвшателя, доступна и в русском переводе: ДАРНТОН Р. *Литературный Тур де Франс. Мир книг накануне Французской революции*. М.: Новое литературное обозрение, 2022.
- 6 ОН ЖЕ. *Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры*. М.: Новое литературное обозрение, 2002.

Установка на междисциплинарность, совмещение скрупулезных архивных разысканий с утонченной методологической рефлексией, обращение к нестандартным сюжетам и, наконец, незаурядный талант рассказчика, отточенность стиля и ясность изложения принесли Дарнтону заслуженную славу, вышедшую далеко за пределы круга специалистов по Франции XVIII века. Одной из его самых амбициозных и влиятельных работ стала опубликованная в 1995 году книга «Запрещенные бестселлеры предреволюционной Франции». Историк установил, что во второй половине XVIII века разнообразные запрещенные властями издания циркулировали среди книготорговцев, издателей и читателей под общим названием «философические книги». Это понятие включало в себя как атеистические сочинения философов-материалистов, так и всевозможные пасквили и непристойные тексты. По мнению Дарнтон, соседство философии и порнографии в списках самых покупаемых запрещенных книг в последние десятилетия Старого порядка позволяло по-новому взглянуть на многократно обсуждавшийся вопрос о соотношении книг, идей, философии Просвещения и революции. Один из вариантов ответа был предложен в 1933 году Даниэлем Морне, который в работе «Интеллектуальные истоки Французской революции» проследил процессы распространения просветительских идей из Парижа в провинции и из верхов в низы общества. Однако к концу века идея о том, что у каждого события есть однозначные истоки, а история движется линейно и целенаправленно, стала казаться очень проблематичной и не работающей для интерпретации наступления Французской революции⁷. Говоря об «истоках революции», современные исследователи скорее отдадут дань традиции и очерчивают то проблемное поле, в котором они выстраивают свою более нюансированную аргументацию.

Делает так и Дарнтон. Третья часть «Запрещенных бестселлеров» называется «Вызывают ли книги революции?». На этот вопрос не дается однозначного положительного ответа, однако автор всячески дает понять, что чтение запретных книг (и в первую очередь – порнографических пасквилей о жизни короля и высшей знати) являлось очень существенным фактором в радикализации общественного мнения накануне революции. Этот тезис очень трудно обосновать ссылками на источники; по сути, за ним стоит не эмпирический, а спекулятивный тип аргументации – слишком уж он всеохватный, общий и трудно верифицируемый. Дарнтон предлагает говорить о коммуникативных сетях, которые включают в себя разнородные жанры и медиа, совместно производящие, распро-

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

7 См. глубокую и тонкую работу: ШАРТЬЕ Р. *Культурные истоки Французской революции*. М.: Искусство, 2001.

страняющие и усиливающие слухи, новости и идеи. Именно в этих сетях оформлялось общественное мнение, и запрещенные книги способствовали этому процессу «через закрепление недовольства в печати (сохраняя и распространяя слово) и укладывание его в нарративы (превращая вольные разговоры в связную речь)»⁸.

История чтения подчиняется историко-антропологической реконструкции коллективных взглядов, мнений, установок, чувств и способов мысли. Книги и разговоры на улицах взаимно питали друг друга и производили смену коллективных представлений: «подобно воде, капающей на камень, обличения распутных королей и злостных министров смыли слой сакральности, который делал монархию легитимной в глазах подданных»⁹. В последней главе книги Дарнтон предлагает набросок интерпретации одного из переломных этапов этого процесса десакрализации: речь идет о середине века, притеснении янсенистов, утрате Людовиком роли короля-чудотворца и падении его популярности среди парижан¹⁰. Чуть ниже историк пишет о необходимости «пройти событие за событием “предреволюцию”, показывая одновременно, что происходило и как современники понимали эти происшествия», что должно составить «предмет другой книги»¹¹. Очевидно, что перед нами – абрис «Революционной закалки». Однако есть ли между аргументацией новой и старой книг какие-либо существенные различия?

Для ответа на этот вопрос необходимо кратко осветить рецепцию работ Дарнтон его коллегами. Вскоре после выхода «Запрещенных бестселлеров» был опубликован сборник, целиком посвященный дальнейшему развитию или критическому анализу ключевых тезисов, выдвинутых историком¹². Не имея возможности останавливаться подробно на всех статьях, лишь выделим их лейтмотивы. Бросается в глаза, что многие свойства письма Дарнтон, сделавшие его привлекательным для широкой публики – тяготение к афористичности, сильным утверждениям, броским обобщениям и противопоставлениям, занимательности изложения, – смущают, а порой и откровенно раздражают его коллег-историков. Там, где рядовой читатель ценит ясность и доступность, профессионал видит огрубления, редукционизм, неточности, упрощение позиций других исследователей, насилие над материалом. Никто

8 DARNTON R. *The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France*. New York; London: W.W. Norton, 1995. P. 191.

9 Ibid. P. 216.

10 Ibid. P. 236–238.

11 Ibid. P. 244.

12 MASON H.T. (Ed.). *Op. cit.*

не отрицает, что Дарнтон – очень талантливый исследователь, автор новаторских работ, умело соединяющий превосходное владение первоисточниками с теоретической оснащенностью и умением ставить новые вопросы и предлагать яркие интерпретации. Проблема в том, что из-за своей харизматичности и установки на популярность он замещает собой то научное поле, в котором работает. Во внешнем восприятии огромная и сложная сфера культурной истории дореволюционной Франции, плодотворно разрабатываемая множеством очень разных первоклассных ученых, оказывается вотчиной Дарнтонна и деформируется под тяжестью его индивидуальных предпочтений – любимых тем, источников, ракурсов. (Стоит отметить, что это тем более справедливо для русскоязычного пространства, в котором переводы работ американского историка появляются исключительно в обрамлении хвалебных аннотаций, без каких-либо попыток хотя бы минимального критического дистанцирования и контекстуализации его исследовательского проекта.) Соответственно, вместо того, чтобы очаровываться стилистическим блеском и риторической убедительностью письма Дарнтонна, коллеги вступают с ним в критический диалог и полемику, возвращая предмету своих занятий всю присущую ему сложность и неоднозначность¹³.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Там, где рядовой читатель ценит ясность и доступность, профессионал видит огрубления, редуционизм, неточности, упрощение позиций других исследователей, насилие над материалом.

Исследователи сильно корректируют, если не абсолютно отвергают, тезис раннего Дарнтонна о конфликте привилегированного Высокого Просвещения и отвергнутых обществом литературных низов. Многочисленные памфлетисты, в том числе и Жак-Пьер Бриссо, на основании спорно интерпретированной карьеры которого Дарнтон и выстроил всю аргументацию своей громкой статьи 1971 года, были вполне вписаны в старорежимный мир патрон-клиентских отношений. Их сочинения не питались ресентиментом, фрустрацией и радикализмом аутсайдеров, а писались по заказу враждующих политических фракций и придворных клик, воплощавших собой Старый порядок. Что же касается вопроса о вкладе пасквилей

13 Здесь и далее я опираюсь на следующие статьи: POPKIN J.D. *Op. cit.* P. 105–128; GORDON D. *The Great Enlightenment Massacre* // MASON H.T. (Ed.). *Op. cit.* P. 129–156; EISENSTEIN E.L. *Bypassing the Enlightenment: Taking an Underground Route to Revolution* // *Ibid.* P. 157–177; KAISER T.E. *Enlightenment, Public Opinion and Politics in the Work of Robert Darnton* // *Ibid.* P. 189–206; PASTA R. *Beyond Empiricism: A Comment on Robert Darnton's Work* // *Ibid.* P. 207–233.

в радикализацию общественного мнения и делигитимацию монархии, то оппоненты Дарнтонна напоминают, что мы не знаем, насколько серьезно читатели относились к этим текстам и какое место запрещенная литература в целом занимала в общей структуре чтения. Дарнтонна часто упрекали в игнорировании философско-теоретического измерения политической мысли, столь важного для эпохи Просвещения. Сразу несколько коллег видели в его предпочтении всеми забытых порнографических сочинений трудам великих мыслителей постмодернистский жест переворачивания иерархий и подрыва канонов – отражение настроений, приоритетов и ценностей нашего времени (то есть конца 1990-х), а не XVIII века.

Резкой критике подверглось и использование Дарнтонном понятия «общественное мнение». В одном из характерных для его текстов пассажей, в котором бережное отношение к концептуальным нюансам и работам предшественников приносится в жертву риторической эффектности, Дарнтон пишет, что историки Кит Бейкер и Мона Озуф – авторы «прекрасных статей об идее общественного мнения, как она выражалась в сочинениях “философов”», – «кажется, считают адекватным изучать идею явления, а не само явление»¹⁴. Между тем понятие «общественное мнение», которое все более активно входит в политический язык с середины XVIII века, – именно что умозрительная конструкция, которая не только не совпадает, но и не должна совпадать с эмпирической реальностью бесчисленного множества тех или иных индивидуальных и коллективных суждений и мнений. Вопрос о соотношении идеала унифицирующего суда общественного мнения и действительной текучей разноголосицы позиций и реакций требует отдельной рефлексии, тогда как Дарнтон просто приравнивает фиксируемые полицией крамольные высказывания на улицах Парижа к тому общественному мнению, на которое ссылаются для самолегитимации власть и акторы публичной сферы, и утверждает, что на это же самое общественное мнение решительно повлияла запрещенная литература пасквилей¹⁵.

Возвращаясь к новой книге Дарнтонна, можно заметить, что «Революционная закалка» предлагает значительно более сбалансированную картину радикализации коллективного сознания французов в предреволюционные десятилетия, чем «Запрещенные бестселлеры». Придя к вопросу об истоках революции через историю книги и чтения, исследователь в целом преодолевает книгоцентризм, в котором его порой упрекали. Обосновав еще в «Запрещенных бестселлерах» необходимость изучения

¹⁴ DARNTON R. *The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France*. P. 179.

¹⁵ Критику дарнтоновского анализа общественного мнения см. в первую очередь в: EISENSTEIN E.L. *Op. cit.* P. 171–173; GORDON D. *Op. cit.* P. 152–154.

коммуникативных сетей, образующих информационное общество, Дарнтон теперь прослеживает скорее судьбы новостей, чем книг. Говоря точнее, он продолжает отводить существенное место в своем рассказе запрещенной литературе пасквилей и известий, регулярно повторяет свое трудно проверяемое утверждение, что эта подпольная словесность за счет свойств печатного медиума фиксировала и структурировала смыслы и создавала понятийную решетку, систему убеждений и установок, через которую парижане воспринимали и толковали события. Однако теперь этот тезис заметно децентрирован и словесность превращается лишь в один из факторов формирования «революционного настроения».

Подобным же образом – не столько отказываясь от своих более ранних утверждений, сколько смягчая их категоричность, – историк перестает делать в своем анализе акцент на понятии «общественного мнения», предпочитая говорить о коллективных установках, «революционной закалке» и так далее. Наконец, новую книгу нельзя упрекнуть, как другие труды автора, в антиинтеллектуализме и однобоком предпочтении запретного и непристойного каноничному и серьезному. Дарнтон не развенчивает Высокое Просвещение, но подробно пишет об «Энциклопедии», Гольбахе, Вольтере, Руссо. Не сводит политическую мысль и речь к толкам в тавернах и на площадях, но и анализирует вполне в духе стандартной интеллектуальной истории выработку аргументации и понятийного аппарата нового политического языка на страницах ученых трактатов и в парламентских дебатах.

И все же некоторые возражения против метода историка, озвученные в связи с его более ранними работами, сохраняют свою актуальность и для этой книги. Как пишет Дэниел Гордон – едва ли не самый острый и пронизательный критик Дарнтонна, – в текстах последнего есть ощутимая «нехватка понятий, специально предназначенных для интерпретации процессов»¹⁶. Вместо того, чтобы систематически выработать концептуальный аппарат и последовательно выстраивать аргументацию, Дарнтон предпочитает блистать в каждом отдельно взятом моменте, не всегда заботясь о целом; использует яркие метафоры вместо рассуждений, по-разному, чуть ли не небрежно, расставляет акценты в разных местах текста. В третьей части «Запрещенных бестселлеров» связь книг и революции держится на одном-единственном понятии «десакрализация», и Гордон фундированно демонстрирует недостаточность этого термина и нескольких красивых фраз для интерпретации сдвигов, которые сделали революцию возможной¹⁷.

16 GORDON D. *Op. cit.* P. 132.

17 *Ibid.* P. 145–156.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Этот же упрек можно предъявить и «Революционной закалке». Почему, собственно, сформировался этот радикальный настрой? Дарнтон скорее констатирует данный факт, чем объясняет его. Почему многие десятилетия новости, слухи, клевета и литература пасквилей появлялись и исчезали бесследно, а с какого-то момента запустился процесс накопления кумулятивного эффекта, в конечном счете приведший к качественной трансформации коллективного сознания? Как отметил Томас Кайзер, намеченная Дарнтоном диалектика становления оппозиционного духа так и не получила у него удовлетворительного объяснения и в результате оказалась «лишена достаточно сильного мотора», который двигал бы ее вперед¹⁸. Это остается верным и для последней книги историка. Несмотря на множество описаний устройства общества и культуры дореволюционной Франции, развитие «революционного настроя» не помещается в какой-либо объясняющий политический или культурный контекст (не говоря уж о социальном или экономическом). За этим можно распознать принципиальную позицию, которую Гордон называет «миметической ловушкой»¹⁹. Речь идет о неоднократно декларировавшемся убеждении Дарнтон, что рассказ о прошлом должен вестись в категориях, использовавшихся самими участниками событий, без ретроспективного взгляда, без попыток обнаружить в событиях прошлого смыслы, которые недоступны людям того времени.

За этим стоит приверженность Дарнтон «понимающему» методу Гирца, стремившегося истолковывать культуру на ее собственных основаниях. Радикальный отказ от хотя бы минимальной «герменевтики подозрения» приводит, однако, к отказу от выстраивания каких-либо причинно-следственных связей. Остается только описывать события и утверждать, что их смысл полностью исчерпывается восприятием современников. Например, Дарнтон отвергает интерпретацию событий «предреволюции» 1787–1788 годов как реакционной попытки элит сохранить свои привилегии на том основании, что сами парижане видели в этом борьбу с «министерским деспотизмом» и ничего больше (р. 467)²⁰. Доведенное до предела отождествление точки зрения историка с точкой зрения источников приводит к исчезновению между ними границы. Сам Дарнтон признает проблематичность того, что он «использует новостные сообщения одновременно как свидетельство и того, что происходило, и того, что люди думали, что происходило [*what people thought was happening*]» (р. 449). Вместо дистанциро-

18 KAISER T. E. *Op. cit.* P. 191.

19 См.: GORDON D. *Op. cit.* P. 132–138.

20 Тот же самый аргумент представлен и в: DARNTON R. *The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France*. P. 242–244.

вания и анализа историк начинает сливаться с источниками и пересказывать их, автор становится ретранслятором, а текст исследования – современной имитацией новостных изданий XVIII века. Неудивительно, что Дарнтон в заключении книги обосновывает верность своего тезиса тем, что имеет опыт «долгого, медленного процесса погружения в источники, своего рода маринования» (р. 449). Здесь происходит уже какое-то телесное (или, если угодно, мистическое) слияние исследователя и исследуемого.

Этот жест – как и весь исследовательский проект Дарнтонна – следует поместить в широкий контекст меняющихся подходов к интерпретации Французской революции. Во второй половине XX века классическое марксистское понимание революции подверглось атаке со стороны историков-ревизионистов, развенчивавших представление о ее буржуазном характере. Вслед за этим пришли постревизионисты, предложившие взамен прохудившемуся социальному истолкованию революции политическое и культурное. Вместо классовой войны на передний план вышли политическая борьба за власть, ритуалы и символы, а также культурная динамика упадка придворного общества и становления институтов и практик публичной сферы²¹. Разумеется, труды Дарнтонна, который прямо отказывается «выводить коллективное сознание из работы экономики или структуры социальной системы» (р. 450), – ярчайший образец историографии эпохи упадка марксистских объяснительных моделей и торжества культурной истории.

«Революционная закалка» – местами довольно странное сочинение. Это то ли оригинальное исследование, которому в таком случае не хватает проработанности и строгости понятийного аппарата и теоретической основательности, то ли опыт синтетического повествования о предреволюционных десятилетиях, который слишком много пересказывает новостные издания того времени и слишком мало реконструирует социальные и культурные контексты описываемых событий. Строго говоря, Дарнтону, видимо, так и не удалось предложить связную и убедительную интерпретацию наступления революции. Более перспективным, чем поиск всеильной главной причины (будь то крамольные сочинения или более аморфные и эфемерные информационные потоки), кажется изучение сложных переплетений и взаимодействий множества социальных и культурных практик и дискурсов, намеченное Роже Шартье²². По сути, это и делает Дарнтон в самых убедительных местах

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

21 Ценный аналитический обзор дискуссий о природе Французской революции: BLANNING T. C. W. *The French Revolution: Class War or Culture Clash?* Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1998. Там же см. библиографию во-проса.

22 ШАРТЬЕ Р. *Указ. соч.*

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ
РОБЕРТ ДАРНТОН
В ПОИСКАХ ИСТОКОВ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

своей книги, когда связывает новостные события с устойчивыми коллективными представлениями (недопуск короля к участию и его роль чудотворца, рост цен на хлеб и традиционная «моральная экономика» и другие). Возникновение в эти моменты напряжений, конфликтов и вынужденной трансформации взглядов не просто постулируется, но и объясняется (что требует на практике того самого выхода за пределы кругозора и самосознания изучаемых людей, который – в теории – Дарнтон отвергает). Однако, чтобы прописать подобные связи и закономерности на протяжении всей книги, требуется ни больше ни меньше как предложить новую концепцию истории Франции XVIII века во всех ее аспектах – от социальных и экономических до культурных и интеллектуальных. Дарнтон этого не делает, и вряд ли это вообще кому-нибудь под силу. Как бы то ни было, движение в этом направлении требует не отторжения объяснительных моделей социальной истории, а серьезного с ними диалога. Сложность, практически неразрешимость задач и вопросов, на которые пытается ответить эта книга, красноречиво свидетельствует об амбициозности и важности работ Дарнтон, даже если они не всегда достигают поставленных целей. В любом случае «Революционная закладка» может служить хорошим введением в историю предреволюционной Франции и очень занимательно написана – уж этого у Дарнтон точно не отнять.